

М. Ривз

**РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЯЗЫКЕ, ЭТНИЧНОСТИ
И ДРУГИХ КАТЕГОРИЯХ АНАЛИЗА
В КНИГЕ «"ДЕТИ ИМПЕРИИ"
В ПОСТСОВЕТСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»**

Как отметила Н.П. Космарская в своем вдумчиво написанном "Приглашении к дискуссии", появление ее книги «"Дети империи" в постсоветской Центральной Азии» стало своевременным предложением для научного обсуждения состояния исследований, касающихся русских в ближнем зарубежье. Я рада своему участию в дискуссии; во-первых, мне предоставляется возможность дать книге публичную оценку, заострив внимание на некоторых из многих ее достоинств; во-вторых, я смогу более четко сформулировать ряд моих собственных идей, связанных с ключевыми положениями работы Н.П. Космарской.

В книге затрагивается немало эмпирических сюжетов – от статуса языков и параметров идентичности русских жителей Киргизской Республики до их экономической адаптации и миграционных стратегий. Каждый из них мог бы стать предметом для самостоятельной дискуссии, впрочем, как и темы, вокруг которых в книге развернута теоретическая полемика [скажем, правомерность использования концепта "диаспора" в приложении к русским ближнего зарубежья (с. 481–548) или идея о том, что объектом анализа более эвристически выигрышно считать не русских в узком смысле (как этническую группу), а "русскоязычных" (с. 22–36)]. Не сомневаюсь, что соответствующие части книги станут стимулом для дискуссий в будущем. Здесь же, учитывая ограничения размеров отклика и предложенный содержательный формат обсуждения, мне хотелось бы остановиться на тех двух сюжетах, с которыми пересекаются мои исследовательские интересы. Речь пойдет о языковой ситуации в Киргизской Республике, а также о соотношении, скажем так, "большой политики" и "низовой идентификации".

Но сначала – о том, что считаю большими достоинствами книги. Во-первых, это ее методология, а именно, изощренное переплетение в ней "количественных" и "качественных" данных. В изучении социальных процессов в Центральной Азии все еще доминируют количественные методики. Хотя они помогают работать с измеряемыми фактами и явлениями, для понимания ценностей, стремлений, форм идентификации или иной тонкой материи, определяющей, скажем, решение человека покинуть страну рождения, они решительно не годятся. Текст обильно пересыпан выдержками из интервью, которые собирались в течение нескольких лет. Причем они являются не просто "иллюстрацией" к выводам, полученным с помощью опросов, а скорее служат мотором авторской мысли. Языковой рисунок повествования респондента, наполненный определенным смыслом паузы, жаргонные словечки и неожиданные ассоциации – вот что помогает понять точку зрения нашего собеседника. Сдержанный авторский комментарий не заглушает голосов собеседников, но, тем не менее, дает основу для важных теоретических выводов.

Автор с оттенком оправдания называет эти методы "мягкими" (с. 37). Такая характеристика качественных методов в данном случае не совсем удачна, поскольку именно

Мэдлин Ривз – Ph.D. научный сотрудник Центра по изучению социокультурной динамики (Centre for Research on Socio-Cultural Change, Faculty of Social Sciences, www.cresc.ac.uk) Манчестерского университета (Великобритания); madeleine.reeves@manchester.ac.uk

благодаря этим "мягким" методам теоретические выводы Н.П. Космарской столь "жестко" убедительны. Действительно, без изучения всей многоцветной и сложной по составу палитры идентификаций русскоязычных жителей страны было бы трудно критиковать эссенциалистский подход, доминирующий в литературе о русских ближнего зарубежья. Аналогично, нюансированное различие респондентами сельских киргизоязычных "кыргызов" и городских, культурно и лингвистических обрусевших, "киргизов" вряд ли можно было извлечь из "предписывающих" анкетных формулировок. Иными словами, теоретические результаты исследования естественно вырастают из приверженности автора к определенной методологии – она позволяет "полю" свободно проявлять себя, а не навязывает ему свои собственные представления (с. 35). Это блестящий образец индуктивного исследования "в действии", и он вполне может использоваться, наряду с более "дидактическими" текстами, в качестве иллюстрации того, как позволять нашим данным создавать теорию.

Еще одна особенность исследования, значимость которой выходит далеко за пределы собственно центральноазиатских штудий – это последовательная критика Н.П. Космарской этно(группо)центричности в социальных науках. Автор стремится обосновать свой выбор именно "русскоязычных", а не "этнических русских", в качестве главного объекта изучения, но ее аргументация носит более обобщающий характер. подвергая сомнению правомерность использования этничности как объяснительной переменной при анализе социальных явлений вообще. Так, она демонстрирует, что многие работы, посвященные мироощущению (*attitudes*) русских ближнего зарубежья, априори реифицируют этничность. в то время как ее значимость должна быть сначала проверена эмпирически. В частности, существует тенденция рассматривать трудности, с которыми столкнулись после распада СССР все жители той или иной республики, в этнических терминах (с. 36, 103).

Тут необходимо сделать небольшое отступление, касающееся разграничения "русских" и "русскоязычных". Автор подробно представляет нам несколько причин – методологических, политических и этических, по которым первому она предпочитает последний (с. 22–29). Однако в постсоветских условиях оперирование термином "русскоязычные" по отношению к некоренному населению может нести подвох. Многие городские киргизы сами являются "русскоязычными" – не только из-за своих лингвистических предпочтений, но и с точки зрения культурных ориентаций и паттернов повседневного поведения. И хотя я согласна с Н.П. Космарской, что в некоторых ситуациях факт (номинальной) этнической принадлежности представителей "титовского населения" может повлиять на выбор индивида или на раскрывающиеся перед ним/ней политические возможности, в городской среде этничность обычно гораздо менее значима как фактор социального, культурного и языкового размежевания, нежели иные социальные характеристики человека. Поэтому идея о "титовских" и "пришлых, некоренных этнических группах", которые находятся, по стечению исторических обстоятельств, "по разную сторону баррикад" (с. 23), служа цели развенчания реифицирующего "языка этноса", создает риск уже новой реификации (различий между "автохтонами" и "переселенцами").

Сказав это, я, тем не менее, полностью поддерживаю озабоченность Н.П. Космарской, указавшей на опасности изучения постсоветских трансформаций сквозь призму "монолитных этнических групп", или, если воспроизвести ее точные слова, озабоченность "этнизацией публичного и научного дискурса" (с. 23). Как демонстрируют ученые в течение уже свыше десяти лет, "этничность" в качестве аналитического инструмента уже изрядно выработала свой ресурс – она больше скрывает, нежели обнаруживает¹². В случае с русскими ближнего зарубежья, подобная нехватка объяснительного потенциала сочетается с сильно выраженным политическим детерминизмом, который предпола-

гает, например, почти биологическое стремление русских на свою "историческую родину". Это не только препятствует серьезному анализу низовых интеграционных практик, который был осуществлен Н.П. Космарской. В качестве политического проекта такой детерминизм усиливает также (как в России, так и в Центральной Азии) идею о том, что по прихоти этнической принадлежности человек непременно будет менее лояльным, менее патриотично настроенным жителем страны или хуже "интегрированным" в ее социальную жизнь, нежели представитель титульного населения. Так культивируется и убежденность в том, что "этничность – это судьба, и от нее не уйдешь". И именно посредством такого образа мыслей воспроизводятся и реифицируются социальные границы¹³. Страницы книги, посвященные тщательному анализу рисков подобной дискурсивной этнизации, заслуживают широкого внимания и изучения, в том числе и со стороны ученых, работающих в далеких от непосредственной темы книги областях социального знания.

Как раз в связи с проблемой социальных границ и их воспроизводства и будет уместным обратиться сейчас к этноязыковой ситуации в Киргизской Республике. Завершая свою главу о статусе русского языка (разд. I, гл. 3), Н.П. Космарская задает вопрос, не имеем ли мы в данном случае дело со "счастливым концом истории" (с. 198). Содержание главы предполагает в качестве ответа осторожное "да". Русский язык начиная с 2000 г. пользуется в Киргизской Республике статусом "официального", и, как отмечает автор, задолго до того, как законодательство было приведено в соответствие с реальностью, он занимал в стране привилегированное положение. Несомненно, в сравнении с ее соседями по региону и по СНГ, судьбу русского языка в этой стране действительно можно назвать счастливой. Он продолжает играть важную роль в городском публичном, экономическом и академическом пространстве; на нем многие говорят, и еще больше людей его понимают. Это действительно язык "межэтнической коммуникации". И в отличие от других центральноазиатских столиц, социальная жизнь в Бишкеке (в значительной степени) структурируется по иным критериям, нежели этноязыковые¹⁴. Я согласна и с эмпирическими наблюдениями Н.П. Космарской, сделавшей вывод о благополучном существовании русского языка на урбанизированных территориях, и с ее оценочными суждениями (в частности, с тем, что его продолжающееся присутствие в официальной сфере и повседневном общении можно только приветствовать).

И все же опыт девяти лет, в течение которых я посещала страну или жила там (из них два года, в 2000–2002 гг. я преподавала в городской и в основном русскоязычной среде, а в течение двух других лет, 2003–2005 гг., я жила и проводила исследования в сельских, преимущественно киргизоязычных районах), заставляет меня предложить довольно отличающийся от позиции автора книги и более пессимистичный взгляд на будущее лингвистического плюрализма в Киргизской Республике. Мой ответ на вопрос о том, представляет ли ситуация вокруг языков "историю со счастливым концом" поэтому будет менее однозначным, причем, хочу подчеркнуть, по причинам скорее не политическим, а в первую очередь социальным, экономическим и демографическим. Мой посыл не в том, что положение русского языка менее благополучно, чем прежде. Однако ситуация такова, что страна все более и более "раздваивается", если можно так выразиться, по лингвистическому признаку, а позиции полноценного, функционального билингвизма ослабевают. Так что "история", если вернуться к метафоре автора книги, еще далеко не закончена.

В этой связи стоит отметить два момента. Во-первых, несмотря на укрепление позиций киргизского языка в качестве государственного (на нем, например, публикуется больше официальных документов и чаще ведутся парламентские дебаты, чем десять лет назад), он со всей очевидностью так и не стал языком гражданским, т. е. таким, ко-

торый все киргизстанцы считали бы "своим". Киргизский все еще рассматривается – в СМИ, публичном, политическом и академическом дискурсе, – как язык конкретной этнической группы. Обучение киргизскому языку в русских школах продолжает осуществляться формально и во многом ради символических, а не прагматических целей – сделать его реальным средством повседневной коммуникации. Изданный за счет средств Фонда Сороса обильно иллюстрированный учебник киргизского языка для русскоязычных детей, который получил высокую оценку автора книги (с. 191–192), как раз иллюстрирует сказанное (я сама пользовалась им при изучении киргизского). Если его рекламируемая функция состояла в том, чтобы сделать киргизский доступным для русских школьников, скрытой целью его создателей (исходя из "подачи" грамматических правил, подбора сюжетов и лексических конструкций) было, судя по всему, внушить ученику мысль об этом языке как неотъемлемой собственности киргизского народа. Читатель получает информацию о названиях составных частей юрты раньше, чем его учат полезным бытовым конструкциям, помогающим, например, делать покупки на базаре. Киргизский язык преподносится как атрибут этничности, а не средство коммуникации.

То же самое относится к электронным и бумажным СМИ, а также возрастающему объему иных публикаций на киргизском языке, выходящих при поддержке государства. Подобные тексты и передачи, в общем и целом, подчеркивали роль киргизского языка в поддержании этнической идентичности, но не в обеспечении социальной коммуникации, а потому они не смогли удовлетворить острейшую потребность в киргизоязычных материалах по различным отраслям науки. Так, например, имеется множество публикаций, посвященных киргизской генеалогии (*Санжыра*), но трудно или почти невозможно найти приличный базовый учебник по анатомии или английской грамматике на киргизском языке. За последние десять лет он приобрел все более явные черты этнического маркера. Это необходимо учитывать при изучении "интеграционных стратегий", которым в книге посвящено много страниц: билингвизм остается почти полностью односторонним, а языковая проблема все с тем же пылом политизируется в публичной и официальной сферах.

Второе обстоятельство, способствующее лингвистической "бифуркации" киргизстанского общества – снижение уровня владения русским языком среди сельских школьников и молодежи. В 2004/2005 учебном году я занималась преподаванием (на киргизском языке) в одном из университетов южной части страны, и большинство моих студентов были выходцами из сел. В группе из 17 человек лишь двое могли объясняться на русском, потому что выросли в расположенном поблизости многонациональном шахтерском городке Шораб. И от села к селу ситуация повторялась – русский все больше воспринимался и преподавался как "иностраный язык", и причина состояла отнюдь не в отсутствии желания его учить. Как раз наоборот – мне уже доводилось писать о том, что сейчас, когда миграция в Россию стала основным источником доходов в сельских, моноэтнических районах Киргизской Республики, родители очень заинтересованы в освоении детьми русского языка (*Reeves 2006*). В Баткене, центре недавно образованной одноименной области, в единственном "русском" классе городской средней школы обучалось 40 ребятишек (почти все киргизы), и конкурс для зачисления в этот класс был весьма серьезным. В сельских районах страны русский язык воспринимается преимущественно как способ преуспеть – через последующее высшее образование и приобщение к городскому образу жизни.

Таким образом, барьеры на пути освоения русского языка заключаются не в отношении к нему населения или позиции властей. "На бумаге" сельские дети Киргизской Республики не отлучены от русского: предусмотренное программой количество часов на его изучение существенно выше, чем в соседних Узбекистане и Таджикистане.

Проблема скорее состоит в острой нехватке в сельских районах учителей-русистов, и под давлением экономических факторов ситуация только ухудшается. Именно тех представителей сельской интеллигенции, которые хорошо владели русским и имели высшее образование, первыми смыла волна миграции: они либо переселились в города, либо (во все возрастающих масштабах) выезжают в Россию в качестве неквалифицированной рабочей силы. В 2004 г. мне повстречался директор сельской школы, который в течение двух лет лишился таким образом почти половины своего учительского коллектива, состоявшего из 30 человек, и потому не мог предложить своим ученикам ни русского, ни английского в качестве "иностраных" языков.

Сложившую ситуацию я называю "состоянием бифуркации" (раздвоенности), потому что она продуцирует появление многочисленной группы молодых людей, чувствующих себя глубоко изолированными от городской жизни, постигаемой через русский язык и европейскую культуру. Подавляющее большинство моих студентов из Баткена никогда не были в Бишкеке и уже почти свыклись с мыслью, что они вряд ли когда-нибудь приобщатся к городской культуре именно по причине своего монолингвизма. По этой причине я не могу согласиться с утверждением Н.П. Космарской о том, что (речь идет о Бишкеке) "городское пространство продолжало оставаться легко проницаемым для людей разных национальностей" (с. 179). Для многих именно "европейскость" Бишкека превращает его в отчетливо "непроницаемый" город.

Во время политических потрясений марта 2005 г., ноября 2006 г. и апреля 2007 г. "бифуркация" (разделенность) киргизстанского общества приобрела новую драматическую окраску, когда горожане (всех национальностей) неожиданно оказались лицом к лицу, как сказал мой коллега-киргиз, с "киргизским эл (народом. – Н.К.), которого мы раньше не знали". Иллюстрация, которая помещена в книге на с. 173, хорошо схватывает суть этого парадокса. На одном уровне прочтения мы видим демонстрацию "сплоченности" населения – лозунг "Мы с народом!" (на двух языках), написанный кем-то от руки на витрине цветочного магазина во время "мартовских" событий. Однако надпись на киргизском языке содержит две явные орфографические ошибки, напоминая наблюдателю, что появившийся в столице в массе своей сельский "народ" – это тот, с кем "мы вместе", но частью которого "мы" не являемся. Это декларация солидарности, как бы сформулированная на иностранном языке. "Мы с народом", в конце концов, не то же самое, что "мы есть народ".

В заключение перейду к проблемам идентичности и аналитическим моделям ее изучения. Обсуждаемая книга охватывает первое десятилетие независимости, т. е. формально не доходит до бурных событий весны 2005 г. Однако одно из приложений, названное "Мартовские письма", и ряд эмпирических данных, на которых базируется работа, выводят исследование за названные временные рамки, а значит, приглашают читателя (но крайней мере, имплицитно) к размышлениям о будущих траекториях развития страны (это же делает и сам автор в последней части книги). Она заключает, что мартовская "революция" была выплеском недовольства "не отдельных групп, а всего киргизстанского общества" (с. 576) – тезис, который находится в русле авторской критики представлений о русскоязычных Киргизской Республики как о "русской диаспоре" (с. 538–544). Для обоснования своей трактовки "мартовских событий" автор обращает внимание на проявления социальной активности бишкекчан разных национальностей, защищавших "свой" город, а также на то обстоятельство, что недовольство режимом А. Акаева охватило все слои населения, независимо от их региональной, этнической и социальной принадлежности.

Я, разумеется, согласна с Н.П. Космарской в том, что мартовские события не были обусловлены недовольством поляризованных этнических групп. И все же эти и последующие события ярко показали, что "сообщество всех киргизстанцев" является до-

вольно хрупкой конструкцией. Формы социальной идентичности (включая этническую), которые ранее были во многом незначимы и незаметны в повседневном взаимодействии людей, в ходе и после "мартовских событий" вошли в официальный дискурс и массовый обиход. "Национальность", как и "место рождения", начали функционировать, по выражению П. Бурдые, как "линии видения и разделения" (*lines of vision and division*). В последующие месяцы мне приходилось слышать от коллег – разных национальностей – что определенные элементы их идентичности (от территориального происхождения до акцента, от клановой принадлежности до национальности), которые ранее, казалось бы, ничего не значили в социальных контактах, стали ощущаться как нечто важное – впервые после начального периода независимости.

Эти замечания никоим образом не имеют своей целью продвижение идеи о примордиальной природе этнических или региональных идентичностей. Они не являются и критикой одного из основополагающих выводов книги – о том, что защита культурных или языковых прав в терминах этничности вряд ли станет в изучаемой стране заметным вектором политической активности в будущем (с. 571). Я хотела лишь привлечь внимание к тому обстоятельству, что политическая нестабильность и существующая в обществе тревожность способны, в определенные моменты и зачастую в непредсказуемых формах, усилить степень социального размежевания, обострить у некоторых групп чувство своей "самости". И еще один момент – происходящее, казалось бы, очень далеко от изучаемой "площадки", может оказывать существенное влияние на параметры и репрезентации локальных идентичностей. Когда сотни тысяч киргизстанцев работают в России и испытывают на своей шкуре враждебное, с расовым оттенком, отношение к себе другого "национализирующегося государства", это вряд ли останется без последствий. Барьеры, которые конструируются в российском публичном дискурсе между "нами" (россиянами) и "ними" (приезжими, мигрантами), могут в итоге повлиять на проницаемость социальных границ в самой Киргизской Республике.

Автор книги неоднократно цитирует работы американского социолога Р. Брубейкера. Хотелось бы напомнить еще одно высказывание этого ученого, касающееся его интерпретации взаимодействия между "высокой политикой" и "низовой этничностью", а заодно и "событийной подоплеки" (*eventfulness*) идентичности: «Мне неизвестно о достаточно серьезных дискуссиях, где "национальное" [*nationness*] трактовалось бы как случайное событие, как то, что неожиданно "кристаллизуется", а не постепенно развивается; где "национальное" – это неустойчивая, хрупкая, меняющаяся в зависимости от обстоятельств [*contingent*] рамка восприятия, отправная точка [*basis*] для индивидуальных и коллективных действий. В контексте этого понимания "национальное" вряд ли можно считать относительно стабильным продуктом глубинного развития экономики, политики или культуры» (*Brubaker 1996: 19–20*).

Предпринятый Н.П. Космарской тщательный и тонкий анализ положения русскоязычных в одной из центральноазиатских стран дает ученым богатейшие возможности для теоретического осмысления динамики и параметров адаптации "детей империи" к тектоническим социальным сдвигам, вызванным распадом СССР. Сейчас, когда политическая карта Киргизской Республики меняет свои очертания, наше внимание к тому, как новые пертурбации воздействуют на социальную идентичность, как люди воспринимают эти изменения, может дать многое для понимания характера такой адаптации в будущем.

Перевод с английского Н.П. Космарской